

Иван Сергеевич Шмелёв
Волчий пережат

Оставался последний концерт – в северном городе.

Можно было ехать по железной дороге, но певица выбрала пароход. Баритон убеждал, что в конце августа ехать по реке вовсе не интересно, может измениться погода, что они, наконец, рискуют. Говорил о туманах, о возможности застрять на мели. Но певица настаивала. Она не бывала в этих пустынных краях, где в тихих селениях дремлют старенькие церквушки, где по погостам – там есть такие погосты – притаилась сиротливая жизнь. Наконец, хотела отдохнуть на воде, где всегда чувствуешь себя хорошо.

Их импресарио – он же и пианист – поехал вперед – налаживать дело, а баритону пришлось уступить.

Пока они сядут на небольшой пароход, а с половины дороги – там вода позволяет – поедут на самоновейшем, большом и роскошном, со всеми удобствами. Общество может гордиться своими «американцами», и пусть не подумают, что полный комфорт можно получить только на Волге.

Так сказал им пароходный агент.

– На этом пароходе ехал министр!

Агент знал, с кем имеет дело, и галантно добавил:

– Вы делаете нам честь.

Их провожали овациями. Баритон прижимал руку и посылал поцелуи, певица разоряла поднесенный букет, гимназисты ловили ее пальцы и щекотали губами. Все это очень мешало крючникам, спешившим с догрузкой. Катились скрипучие бочки с сахаром, синие – с керосином, неслись на плечах дробным шажком, как маленькие дома, громоздкие ящики, пугали щебечущую толпу придушенные оберегающие голоса:

– Пу-скай... дорогу!...

Когда пароход отвалил, певица сказала устало:

– Надоели.

– В ушах как кузнечики... – добавил с кислым лицом баритон.

Походили по палубе, провожаемые косящими взглядами двух крепышей – штурвальных, в угрюмой сосредоточенности вертевших

туда и сюда колесо. Приглядывались, кто едет. Публики не было. На затрубной части, под дымом, посиживали простые люди.

– Кажется, мы одни... – сказал баритон. – Да тут всегда так.

– Я рада, – сказала певица. – Какая милая простота!

Хорошо и покойно было вокруг. Плыли берега, слоистые от опадавшей за лето воды, в лознячке, уже потерявшие куличков-свистунов, полетевших к югу. Крестами стояли на высоких мысках полосатые мачты с отдыхающими воронами. Еловые гривки падали в пустые луга. Широко сидели по взгорьям деревни. Лениво кружили крестами одинокие ветряки.

– Родное, милое... – мечтательно говорила певица. – Какой воздух!

– Но сыровато, – сказал баритон, поглаживая горло. – Не лучше ли из салона?

В салоне первого класса сидел в уголке батюшка в фиолетовой рясе, с падающими на стол волосами, и вычерпывал из тарелки, шумно похлебывая. Они просмотрели карту и заказали обед.

– Вряд ли найдется порядочное вино... – сказал баритон, морщась.

– Какое-с! – отозвался батюшка, выплевывая в тарелку. – У них и лимонад-то с фальсификацией. Налимью уху вон ставят сорок копеек, а что подали – одни хвостики!

Баритон повел бровью, а певица отвернулась к окну и беззвучно смеялась.

Плыли рыбы заколы, синие дымки костерков у шалашиков, золотистые водопадики текущих с откоса полешков. Пестрыми лоскутками попрыгивала детвора, звонкая, как стекло.

Капитан, капи-тан! Наши день-ги украл!...

– Ти-та-та... ти-та-та... – повторила певица, попросила дать ей стекла с большого стола и стала вызванивать на лафитничках.

– Очень похоже-с, – сказал, улыбаясь, батюшка. – Точная копия!

До вечера смотрели они из салона. Берега стало заливать вечерним солнцем. Золотистыми пятнами глядели в лесных углах

новые сторожевые избы, пылали их пузырчатые оконца. Баканы зажигали огни, а сумерки все не уходили.

К ночи опять вышли на палубу. Штурвальные все ворочали колесо, глядя в мутнеющую даль. Синие костерки стали красными. Берега повторяли сонное пошлепыванье колес.

– Мы едем в пустоте, – грустно сказала певица. – Какая бедная жизнь.

– Не скажите, сударыня, – отозвался батюшка за спиной. – Тут богато живут. Одного сена накашивают...

– Это какая звезда?

– Вечерняя... А, право, сыро. «Звезда вечерняя моя-а...» Голос потонул в реве гудка. Штурвальный посмотрел на погружающуюся звезду: снизу затягивало ее свинцовой тучей.

В салоне батюшка объявил, что едет, собственно, по второму классу, – цены дорогие! – а сюда заходит посидеть в обстановке. Рассказал, что живет на Старом погосте, что житье у них тихое, много гриба и голубики, отвозил детей в семинарию, а теперь едет восвояси, до будущего года.

– А уж волков у нас!... Как в городе фонарей – столько у нас волков!

Это их насмешило. Баритон хохотал степенно, потряхивая рыхлыми сизыми щеками и намекающими у глаз мешочками. Певица смеялась нервно, прячась в боа, точно ей было холодно. Смеялся и батюшка, довольный, что так понравилось про волков. Потом рассказал, что у матушки тоже большие способности к музыке и голос звонкий, но только не довелось подучиться: не было фортопьян. И опять смеялись.

– Да-с. У вас там музыкальные представления по ночам, и у нас музыка: у-у-у! – представил он вой волков.

Уходя, батюшка сказал:

– В седьмом часу, поутру, и погост мой. Позвольте с вами распротиться и пожелать доброго здоровья. Приятно время провели.

И когда вышел, певица долго смеялась...

– Приятно... приятно провели... ха-ха-ха...

– Вы нервничаете, дорогая... – сказал баритон. Утром они пересели в каком-то растрепанном поселке на большой белый пароход, который носил славное имя – «Чайковский».

– Как это приятно, – показала певица на золотые буквы по белому. – Леса, плушь, и вот... Это символ.

– Тут и читать-то не умеют!

Это был действительно прекрасный пароход, недавно спущенный, на котором ехал министр. Было приятно видеть большой светлый салон, в красном дереве, бронзе и коже, свежие скатерти, разноцветный хрусталь, розовые шапки гортензий над серебром, зеркальные, во всю стену, окна, мягкие диваны и пианино. От него еще пахло лачком и слабым камфорным духом.

– Как мило... даже цветы!

С палубы смотрели они на поселок.

Было пасмурно. Красные ящики товарных вагонов, там и сям разбросанные стройки без крыш – говорило, что это только-только устраивающийся городок. Гулко скатывали бревна где-то, гроыхало железо. Толклись крючники, мужики с кнутьями, бабы с пирогами, молодцы с желтыми аршинчиками в кармашках, с пачками накладных; степенный, рыжебородый, с намасленными волосами, с картинкой храма на широкой груди, собирающий на недостроенную церковь, – и ни одного отдыхающего лица. Три слепца, ухватившись за кафтаны, стояли у края пристани, подняв пустые глаза в серое небо, и причитали. Мальчик-поводырь, перекосив лицо, жестоко скреб в голове. Щелкал на ветру флаг.

А и кто нас бу-дет поити-кормити,
От темнаи ночи укрывати!...

– Будни... – показала на все певица.

И опять все тянулись изрытые берега, замутившиеся, в белых гребешках, воды, захмурившиеся леса. На одной пристани, где ничего не было, кроме сарая и леса за ним, выгрузили пианино. Его выкатили пароходные молодцы и поставили к горке мешков. Мужик в полушубке потыкал кнутом в доски.

– Стекла, што ль?

– Кто-то живет здесь, любит искусство... – мечтательно сказала певица.

Вспомнила батюшку, и забитое в доски пианино показалось ей жалким и лишним здесь.

За завтраком она сказала задумчиво на какие-то свои мысли:

– Ну да... Но вот... в деревне у нас, в усадьбе, я пела... К нам столько народу приходило, заборы ломали. Приходили после работы, из другой деревни...

Занятый паровой семгой, баритон посмотрел вопросительно.

– Девушки приносили мне васильки. А парни... которые бьют окна в кабаках и дерутся ножами, принесли раз венок из хвои и... соловья! Соловья я выпустила, а венок храню...

– Что же вы хотите этим сказать?

– Ничего я не хочу сказать! – сказала она капризно. – Вот налейте вина.

После завтрака они гуляли по палубе, кутаясь в пледы. В первом классе опять не было пассажиров. В зальце второго посиживали за графинчиком два картузника, чокались и тыкали пальцами. Десятки голов совались через борта вниз, когда пароход принимал с лодки таких же. А на берегу и жилья не было.

– Откуда они появляются? – спрашивала певица, вглядываясь в глинистые лесистые берега.

А они нет-нет да и появлялись – то бородатые, то румяные и безусые, то сумрачные – бабьи, то веселые – девичьи лица. Выходили из каких-то лесных своих деревень. Куда-то, зачем-то ехали. Иногда съезжали на такие же пустынные берега.

Кто-то радостно крикнул:

– Эна, журавли-и!

Певица долго глядела в серое небо. Ползли тяжелые облака – вот-вот начнет сеять дождем, – а под ними две веревочки уголком, темнеющие узелками. Да, журавли... Три серых креста стояли на берегу.

– Что это значит... кресты? – спросила певица у капитана, с грубым бурым лицом, к которому совсем не шла маленькая фуражка.

– Кресты... – повторил он раздумчиво. – У нас тут много крестов. Погибшие которые... по разным случаям...

И, разглядев, какое у ней красивое, нежное лицо и какие славные мечтательные глаза, мягко добавил:

– Скучные наши места, сударыня!

Он был из лоцманов и из всех вежливостей знал разве только одно это слово – сударыня. И, ответив на два – на три вопроса, поднял фуражку и четко кинул на благодарность:

– Мое почтение.

Чернели вороны на песках. В пролесках кружили грачи. На буром жнивье увидали точно лоскутное одеяло – бабью толпу, провожающую бедную позолоту хоругвей: какой-то праздник. Из песчано-глинистых берегов глядели древние валуны, точно орехи в шафранном тесте. Хохлилось и супилось все в мелком дожде. Гасла даль.

В салоне певица подняла крышку пианино, взяла несколько грустных аккордов, посмотрела в окно и захлопнула.

– Какая тоска!

Кричал пароход, из мути наплывал встречный, тащил мокрую баржу с дровами, с выплядывающей из-под грязной рогожи головой.

– Второй день мы едем, – говорила певица, смотря на замутившиеся в дожде берега, – кажется, целое государство проехали... и только представить всю нашу Россию!...

– Дистанция огромного размера!

– Всмотриваюсь я, думаю... Чем живут эти все здесь... Что у них хоть немножко яркого в жизни? Куда-то идут, бегут, везут, валят бревна... точно переезжают все и никак не могут устроиться...

Баритон ходил по салону, засунув руки в карманы, и, раздумывая о чем-то своем, посвистывал. Певица сидела с ногами на диване, кутаясь в мех. Позванивали хрустали на столе, и розовые шапки гортензий мерно дрожали в работе машины.

– «Мы едем... поздно... меркнет день...» Дальше? Это Тютчева, кажется...

– Может, и Тютчева-чева, а может, и Пушкина-кина... – в такт шагам отозвался баритон. – Не помню, как дальше. Ехали бы мы в купе с вами...

– Оставьте. Да... Кругом леса, неуют... кому-то выгрузили пианино... Кому нужно здесь пианино!

– Какой-нибудь попадьё. Будет попадьё играть, а поп будет танцевать... а волки – выть...

– Живешь в городе, не замечаешь... Петербург, Москва, культура, яркая жизнь... А отсюда... все они какие-то пылинки, светлые точки... – она вся запряталась в мех, и только большие глаза ее грустно глядели в окно в передней стене, по которому брызгал дождь, – во всем этом. Вся Россия – огромная, серая, а мы в ней... будто какой-то малюсенький придаток... как то пианино у леса.

– Зачем так мрачно! – с чувством сказал баритон, проглядывая обеденную карту. – Гм... йоганисберг имеется... Позволяете?

– А, все равно! Вся жизнь, эта вот и везде, идет каким-то своим серым путем, куда-то идет, идет... а мы только скользим, скользим... и мне кажется иногда, что она кем-то обижена... Будни, будни...

– Смотрите, как огни зажигают, – кивнул на окно баритон.

Начинали загораться огни баканов – красные, белые. Из окна салона было видно, как в прыгающей на волнах лодочке возился человек около белого колпачка. Они проводили его, следя, как вспыхивало и гасло. И чем дальше шел пароход – больше было огней на воде и черноты в небе. Барометр упал, предсказывая бурю. Да она уже и начинала шуметь порывами. Стоял в мути нарастающий шорох. То леса шумели, невидные. То волны накатывали в берега.

– Какой ветер!

К ночи стало тревожней. Чаше вскрикивал пароход, чуть пошлепывал в черноте, нащупывая дорогу. Чаше подавал с носа осипший голос:

– Во-симвь!... де-вить!!.

Они сидели у переднего окна, к носу, и в скупом свете лампочки с передовой мачты видели чью-то копошащуюся мокрую кожаную спину.

– Под таба-ак! – веселый кричал голос. – Не маячи-ит!!

– Не мая-чит!! – выше перекидывал другой, мальчишеский, наверху где-то передавал штурвалу. Радостно вскрикивал пароход – так! так! – колокол бил отбой, и кожаная спина проваливалась.

Часов около одиннадцати, когда они ужинали, пароход заскребся и стал.

– Сели-таки! – воскликнул баритон и постучал ножичком. – Сели? – спросил он служившего им седенького официанта.

Тот наострил ухо, поглядывая к окну, точно мог там что-нибудь разглядеть, и сказал почтительно-вдумчиво:

– Хитрое место подошло-с. А должны бы сойтить-с... Пароход подрожал на месте, еще немного поскребся и сплыл.

– Сошел-с. Ежели Господь даст, минем его...

– Что такое... хитрое место?

– Есть тут такое у нас, Большие Щуры-с называется. Очень лукавое для пароходов-с.

Они подошли к окну. Плес был, должно быть, очень широкий: красные и белые огни раскинулись здесь широкой путаной сетью. Зыбились на волне. Пароход отходил назад, кружил около одного огонька, а мокрая спина на носу подавала и подавала:

– Четыре с полви-най... четыре-и!!

– Вон, уж четыре-с – шепотком докладывал официант, настраивая ухо на голос. – Каторга очень, то ямка, то перекалец, то самая заманиха-с...

– Неужели сядем! – тревожно спрашивала певица. – Смотрите, что это... огонь прыгает?!

Близко ли, далеко ли, обманывая в черноте, метался желтенький огонек. Ухнуло ветром и понесло с воем по палубе. Качнуло пароход.

– Может, пассажир просится... – с сомнением в голосе сказал официант, осторожно заглядывая с бочка. – Только тут место пустынное-с... ни пристаньки, ничего. Маяшник в шалашике живет только.

Ближе метнулся огонек и пропал. Тревожно застучали по палубе, пробежали в кожаных куртках. И вот заревел вверх рупор:

– Ходи в корму-у!

– Пассажира принимаем, – сказал официант. – А на воде-то теперь... самый-то волнобой, ночь-с...

В полосе бокового огня катили крутые волны, тускло ломая гребни.

– Смотрите... человек! в лодке стоит! – воскликнула певица.

В полосе пароходного света, в поблескивающей сетке косога дождя, они увидели ныряющую в волнах черную лодку, одного, пригнувшегося на веслах, и другого, высокого, под плащом. Он стоял лицом к пароходу, вытянув руку, точно что-то ловил. Увидали метнувшуюся веревку-и лодка выпрыгнула из полосы света.

– Прикажете семгу подавать-с?... – спросил официант. Они продолжали ужин. Пароход, должно быть, миновал «хитрое место» – шел ровно.

И только поставил перед ними официант длинное блюдо под мельхиоровой крышечкой и отошел неслышно к сторонке, закинув мастерски салфетку под левый локоть, – в коридоре салона послышалось топотанье: вытирали ноги. Сейчас же стали приближаться тяжелые, осторожные шаги, и в салон вошел высокий плечистый мужчина в тужурке и сапогах, – должно быть, только что принятый пассажир. Мельком оглянул ужинавших, щурясь от яркого освещения, как будто замаялся, куда бы сесть, и направился в уголок, к столику, стараясь не зашуметь. Сел на диванчик и перевел дух.

– Егор Иваныч, доброго здоровьица! – ласково сказал, кланяясь, седенький официант. – Погодку-то какую выбрали. Ну и рыскун вы!

– Да, брат, закрутило. Дай-ка мне, братик... – он покосился на ужинавших, – гм... да горяченького чего, ветчинки... Плохо на берегу.

– Очень дождик-с. Зато все каютки свободны, не как летом.

– Каюты мне не потребуется. Слезать скоро, на Волчьем перекате. Я там говорил капитану, а ты все-таки накажи вахтенным... как бы не проскочить.

– Чего ж ночью-то вам на перекате?...

– Надо. Маячник там утонул. Баритон постучал ножичком.

– Давайте, что там... Да подогрейте вино. Певица глядела на пассажира: кто он? инженер?

II

В двадцатых числах августа Серегин опять перекинулся на средний плес, под Большие Щуры. Так он и сам говорил про себя – перекинулся: такая беспокойная была должность.

Сейчас же за половодьем проверяли стрежень на нижнем плесе, потом перекинули его на Завалы, где землечерпалка; три недели, петровками, маячил он на косах у деревни Большие Щуры, а потом месяца полтора обставлял судоходными знаками участок по Вычегде. И только покончил – срочная телеграмма кинула его вновь под Щуры, где стали крепко садиться только что пущенные большие пароходы. Лето было засушливое, вода валилась, и жалобные ящики на судоходных постах каждый день доставляли неприятность.

Назначение под Щуры было Серегину в радость: он и сам собирался туда, хотя бы налетом. А когда-то он проклинал их, эти Щуры. Маячники штрафились там, как нигде. Там река баловалась, играла перекатами и косами, ставила заманихи пароходам. А теперь все здесь нравилось: и еловая чаща на кручах, и пески того берега, и вязкое побережье в ключах, и валун, завалившийся к самой воде, и самое имя – Большие Щуры. Они таились за взгорьем и конечками крыш хитро мигали пароходным дымкам: а вот и мы, Большие Щуры! а вот и нет нас!

И как увидал с парохода поспешавшего на веслах рыжего Семена-маячника, приставил ладони и крикнул раскатисто во всю реку:

– Навастрива-ай!

Долгим стоном ответила ему еловая чаща, а сбитые криком чайки заплакали. И не от тоски, потому что не было здесь тоски: весело было на светлой реке. Радовались свежей краской баканы; висли вниз головами рыжие ели, точно в веселой игре, вцепившись корнями в тряские берега, а зеленые заглядывали на них сверху; ключи так сверкали, точно весь берег был в серебре. Все показалось Серегину ясным, веселым, добрым: даже валун улыбался каменной лысиной. Потому, что судьба подарила ему здесь улыбку, и эта улыбка осталась на всем. Воздух был так звонок и чист, что Семен сразу признал, кто,

высокий, стоит на корме, загородив спиной падающее к пескам солнце. Да и кому еще ехать сюда, на вязкие берега, снизу!

– Егор Ива-ныч!

Серегин прыгнул в Семенову лодку и остался стоять, качаясь на высокой волне, провожаемый взглядами женщин, вольный, крепко загоревший, веселый. Увидел светлый валун и вспомнил, как в белой ночи не мог спать, как охватил тогда накрепко этот холодный валун и вырвал из заевшей его чмокнувшей глины. И все вспомнил. Стряхнул на затылок фуражку и руганул весело и Семена, и реку, и затихающий пароход:

– Раков все, черти, давите!

Подмигнув пароходу, сказал весело и Семен:

– Повертелся надысь у косы... Та-чал капитан... шумной!

– С вами будешь шумной!

А Семен подмаргивал про себя из-под драного картуза под писк ерзавших весел. А когда Серегин доставал папиросу, признал жестяную коробочку с крашеной бабочкой наверху. Показывал ему как-то Егор Иваныч эту коробочку, тыкал к носу и говорил:

– Хорош я себе портсигар уделал?!

Чу-дак! А был у него настоящий портсигар, на пружинке. На его глазах тогда и зашвырнул в реку, хоть бы ему подарил!

– А понсигарчик-то ваш надышний ущупал я, рашницей достал. А это у вас, с бабочкой какой был?

– Подгребайся, подгребайся... с бабочкой! С солдаткой-то как?

– Хе-э... ничаво.

От шалашика лаяла на воду рыжая Лиска с белоголовым кутенком, и казалось, что в чаще есть еще Лиска и тоже радуется.

Прямо с ходу Серегин осмотрел запасные баканы, кучу ржавых цепей, оглянул реку, привычно выискивая отсветы кос и наносов.

– Как на скате?

– У таей, у долгой, новый перекалец задират... Да от ее версту туды, квыше... заманиха рость стала на глыби... да к буграм, жалились, что низвергло, да к Каменьям...

– Ого! Ну, завтра поврешь – погляжу. Придется под якоря двоих со Шуров взять...

– Беспременно, што взять... Братишку бы Степанидина да...

– Лакомый, чертушка, до Степанидиных!

И как сказал про Щуры – заманило на сердце. Поднял затертый чемоданчик и посмотрел к чаще. И Семен покосился к чаще.

– Стоять-то тамоди опять будете, в жилище?

– А-а...

И русая головка голубоглазой Саши, с ямочками-умилками на щеках, игривой, увертливой Саши, к которой только и ехал, о которой – теперь было ясно – только и думал эти месяцы речной жизни, встала живой. Он толкнул легонько в брыластую мордочку лизавшего сапоги кутенка, дал щелчка Лиске и пошел выбитой по осыпи тропкой. На завороте посмотрел на пески того берега, осыпанные чернотой полоскавшихся к ночи ворон, на опускавшееся солнце.

Возил он сколько раз Сашу на эти пески. Тогда солнце играло в ее глазах и ушки ее просвечивали на этом солнце. И не раз покусывал он эти ушки и щекотал усами. И теперь, вспомнив, почувствовал радость, что она не такая, как все: ни пески, ни темная чаща, ни крепкие до хруста объятия не сломили ее. Точно сейчас слышал податливоробкий шепот:

– Ой, миленький, не надо...

И ловил ее на песках, и перегибал за плечи на том камне, в белой ночи, мерялся с ней глазами, близко-близко, видел в них притаившуюся робкую страсть – и жалел. Все мог сделать с ней, юной совсем, – и жалел. Знал, что оставит ее через день-другой, только приди срочная телеграмма. А для забавы можно найти другое, чего не станешь жалеть. Вот тогда, когда боролся с собой, и вывернул из глины валун, только ушла она от него, слабая с поцелуев. Так и осталось в нем с той поры, жалостью залегло на сердце такое простое:

– Не возьмешь за себя!

Не взял бы. Брать за себя, когда больше живешь по рекам, – надо подумать и подумать.

Еловая чаща дохнула пряным и кислым духом, и этот застойный дух вызвал недавние встречи под елями – в паутинах и смолистых ветвях.

– Сашурка! – любовно сказал Серегин еловой чаще. В елях было глухо и сумрачно. Вспоминались на знакомых местах ясные Сашины глаза. Он шел корнистой тропой, слыша только шорохи и паденье шишек – звуки еловых чащ. Уловил шелест шагов впереди, остановился и загадал радостно – Саша? Увидел белый платочек в

зеленых елях, красное понизу и по красной баске признал Степаниду, молодую солдатку, которую видал у Семена. И вспомнил, как на последней работе ходила к нему белозубая, в шумящих голубых бусах, бойкая и задорная, чужая, Анисья.

– Ой... напужали как, сердце зашло! – ойкнула Степанида. – И не сгадала б, Егор Иваныч...

Смотрела лукаво, посмеиваясь глазами, серыми с золотинкой, такими же грешными, как у Анисьи.

– Куда, грудашка?

– А за рыбкой... – сказала она, жеманясь, и облизнулась.

– Ох, попадешься мужу! – весело оглянув ее, посмеялся Серегин.

– А не сказывайте! И то по рыбку... Свекры все бажить, рыбки просить...

Вильнула, посмеиваясь и облизывая красные губы. Серегин пошел, покачивая чемоданчиком.

– А, Егор Иваныч! Санюшку-то Милованову... выдали! Точно дернула она его этим словом. Он остановился, не слыша земли, и глядел в прыгающие Степанидины губы.

– Только-только опосле Успенья свадьбу сыграли! И что позарились, на богатство! И ряб-то, и... Окрутили и окрутили живой рукой. В престол ездили, на Казанскую, в Рожню, к бабушке... там-от Санюшку и приглядел трактирщиков парень, косой который. Сватай и сватай! А отец-мать рады... гулять стал шибко Миколай-то у них, все оженить думали. А девка-то слабенькая, и грудишки-то у ней ягнячи, куды б ее отдавать! И даль-то какую, в Рожню, боле двадцати верст. Уж и к тестю приезжали гоститься. А старик еще и посель все крутит... Ишла – видала: по улице шатает, песни орет...

Не дослушал, пошел потихоньку в Большие Щуры. Темнело на тихой тропе, а потом яснеть стало, как вышел на щуровскую полевину. Тут Серегин присел на знакомый пенек, достал «бабочку», закурил и смотрел на деревню. До половины казалась она теперь высокие избы, с окошечками-тройками под верхом.

...На ярмарке, в Пунсах, на Троицын день, тогда хорошо столкнулись они, как сговорились. Ах, Сашурка! Так бы все стоял и смотрел, как кружилась она на конике, под бисерными висюльками карусели, а ножки в туфельках – такие туфельки на Шексне, в Горицах, монашки продают – мигали и прятались под голубой,

вздувающейся пузырем юбкой. Поигрывала она бойкими круглыми глазами, кидала их в звонком круговом беге – ловила его белую тужурку. Да и нетрудно ловить, когда глаз только и видит одно, и никого во всех Пунсах, на ярмарке, не было в белой тужурке, и никого во всех Пунсах и по округе, как ни ищи, не найдешь такого, целой головой выше попа Ивана со Сретенского погоста. А кругом жестяные голоса дудками звенят в уши: и с Ярославля, и с Костромы, и с Вологды:

- Кольца обменные, серебряные-менные, товары отменные!...
- Брошки... ежели кому для Матрешки! Хороши сережки!...
- Эх и зеркальце, смотрит на лицо!... Каждый мужик и барин будет благодарен...
- Отрада для души! каньфеты хороши, лампасье особенное!!.
- Эх и девки ядрены, орехи калены! С лесу-бору натрясены, на ярмонку привезены, родимые мои!...

Все смотрел, как кружится Саша – само счастье. Вот бери и неси. И смотрел так, точно хотел выхватить ее с коника, смять, с голубым платьем, с ножками в туфельках, с задорными круглыми глазами, и понести с собой очертя голову. Может, и есть-то всего на всей земле для него только одна эта Саша, его судьба, радостное одно за всю жизнь.

Купил он тогда и зеркальце в расписной жести, и жестяную бабочку с леденцами, сбившимися в пестрый комок, и голубенькую змейку – браслетку. Насовал ему торгаш полны карманы и медовых жемков, и белых и розовых пряников, и фальшивый двугривенный сдачи. Ушел он с ярмарки, подждал на лесной закраине, у этого пня. Тогда была ночь – белый день, белая ночь. Темные избы поглядывали коньками крыш, шурились. Видели, как одна рука прижимала закружившуюся светлую головку, нажимала разгоревшуюся щеку на холодную пуговицу, а другая совала в ускользящий куда-то карман – была там каменная баночка помады – все, что насыпал плутоватый торгаш: и пряники, и слюнявую карамельку-гадалку, и голубенькую змейку, и зеркальце, и фальшивый двугривенный. А Саша смеялась коротким смешком, повизгивала со щекотки, и льнула, и не давалась. И пахло от ее головы сладкой помадой.

- ...Ой, миленький, не жми...

Подбирала ноги под платье, не уходила и не давалась, все оглядывалась на засыпавшие избы и все пугалась.

– Ой, мамынька меня...

– Саша! – сказал Серегин, смотря в край деревни. – И нету тебя...

Он пошел полевой загородкой, знакомой дорогой. Три недели ходил он здесь – на реку и с реки, – когда работал на берегу, и ходила здесь голоногая в будни Саша, носила ему обедать к камню. Поглядывала на него в сторонке. Потом пересмеивались глазами. Потом полюбились.

Желто-бурые щетки жнивья глядели голо и холодно в сумерках, только чертополох силой засел на межах с черно-желтыми пуговками ржавой дикой рябинки. Уже не было стреляющих в просторе стрижей, только черное галочье шумело в холодеющем небе, кружило над избами, кричало, что идет осень. В серых рядах стояли пышно разубранные рябины, точно краснокафтанная стража, затесавшаяся в серую толпу мужиков. Стайки жиревших гусей звонко трубили, подвигаясь к ночлегам, и в крике их чуялись холода. Черныен пугалы пялили руки в захоладавших пустых огородах – где все? Неуютом и холодом смотрело все здесь, и не хотелось идти.

И все же пошел.

Пьяный, косоватый Андрон распояской бродил под избой, постукивал топором об стены – искал работы.

– Ягор Ива-ныч!

Вогнал в стену топор и полез целоваться.

– Чисто подга-дал я – трех барашиков намедни принял... Дочку выдал, Ягор Иваныч, живое дело!

Угощали бараниной, рассказывали про свадьбу.

– По-чет какой... становой, Ягор Иваныч, пировал! Полулодок у сватьяшки-то, лен укупает... Перво место мне теперь в трактире у ево. Сам бы Саньку уцопил, да жена жива, вот какой! Будет она у их в дому бажена, пуще хозяйки...

– Будет зря молоть-то! – супилась на него Марья, такая же круплоглазая, как и Саша.

Молчал Серегин, угрюмо смотрел в серую грудку вареной баранины на деревянном кружке, по которой лепились мухи. Смотрел на пегую Сашину кошку, на жующие рты хозяев, на зеленых чертей в языках пламени на картинке за головой Андрона. А тот приставал –

опробуй баранину-то! – наливал из зеленой бутылки, копался обрубленным пальцем в кусках и запихивал в мокрый, закрытый усами, рот. Вытирал пальцы о золотистую широкую бороду, тарашил на Серегина голубоватые, сонные с многодневного пьянства глаза, тряс вихрами и уговаривал:

– Ребрышко-то опробуй...

И в избе было пусто и холодно, как на воле, и все еще стоял здесь тошный и горький дух пьяного праздника. Долго не мог уснуть Серегин. Думал о Саше, о своей незадачливой, неудобной жизни. Думал, что недалеко Еловая Рожня, что живет же Саша на земле. И в бессонной ночи казалось опять, что было на всей земле для него только одно, только одна эта Саша, его судьба, радостное одно за всю жизнь.

Наутро Андрон опять угощал бараниной и рассказывал, какие у свата лошади и ковровые санки: будет теперь Санюшка кататься о святках в лисьей шубейке, – сватьюшка все сулил.

...Саша! – кричало тоской в Серегине.

Он забрал чемоданчик и попрощался: много работы теперь на реке; поживет там, у Семена, в землянке.

И когда опять шел к полевой загородине, на задворках, у знакомой рябины, нагнала его Марья, с чего-то накрывшись поверх головы рваным шугаем.

– Постой, погодь-ко, Егор Иваныч... Плакала по тебе доченька-то... Мой-то сбесился, слышь... Сват-то ему и курму сулил на семгу, и трактиром-то заманял...

– Плакала... – хмуро сказал Серегин, глядя в рябины. – Теперь посмеется.

Стиснул раскосившиеся было губы, тряхнул головой и пошел, не видя ни золотистого в солнце жнивья, ни бордовых сочных головок татарника, что давил сапогами, ни журавлей, летевших над его головой. Паутинки перетянулись везде, паутинки плыли, играли на солнце и как будто заткали все впереди стеклянными нитями. Липли к глазам.

Три дня работали на реке, наводили фарватер, снимали и ставили знаки. Три дня бились на веслах с течением, насажав кровяных мозолей. Три дня путала их река, сбивая поставленные в первый день вешки-указки. Три ночи каменным сном спал Серегин в угарной

землянке Семена. И все эти дни и ночи летели гуси и журавли за солнцем. На четвертый день пришел пароход снизу и сдал депешу – ехать наниз, к Волчьему перекату, быть при дознании: там утонул маячник.

Пароход сверху должен подойти перед вечером. С утра моросило, нависло, и пошел ветер. Разыгрался широкий плес. Под дождем ставили последние баканы. Закачались огоньки на новых местах в дожде – только-только заправленные печальные лампадки. Ночью тянуло с еловой чащи, в черноту ушла мутная даль песков, шумело по берегам осеннею непогодой. А парохода все не было.

– Может, под Буграми шестится где... Шибко вомелко там! – гадал Семен. – Погодка-то шумная, Егор Иваныч...

Серегин сидел перед растрескавшейся печуркой, в дыму. Жалась с своим кутенком вислобрюхая Лиска, смотрела в огонь и плакала. Продрог и заголодался за день Серегин, хотелось водки. Боялся, что пароход запоздает: закроют буфет.

– Ишь ты, утоп Василий... – говорил Семен. – Выпивши, не иначе. И бырит там, а должен бы выплысть, коли с лодкой что обошлось. Шутовое дело выплысть... может, на стрежене понесло, в сапоги налило. А женка у ево осталась, двое ли – трое ли у ево было. Так-то вот оженишься, наведешь их, а там и потопнешь. На харчи-то и то не хватает...

Серегин вышел на волю. Хлестало дождем с реки. Черно было на берегах, черно и на воде; но там хоть по широкому плесу поигрывали, дробились в дожде огоньки. Он смотрел на свои огоньки, разбирая кривую линию стрежня. Да, вот наладил и тут, и там... а свое не наладил. Ползло под ногами. Даже сквозь дождь и гул чащи пробивался булькающий шорох ключей. Пофыркивала рядом Лиска.

– Лиска!

Она визгнула и заюлила у ног. Бывало, сидела у камня, когда он ел, и смотрела в глаза. Тогда было светло на берегу.

...Что ж не идет-то, а? огни не кажет?... Выпить бы вкрепкую да заснуть...

Смотрел в черноту, за баканы, где должны показаться огни.

– Не кажить? – отзывался из темноты Семен. – А, ты, дело какое...

– Какой сегодня идет?

– Думается так, что Чиковский... либо тот... Генерал... Новые, к им и не приглядишься...

...Когда же?

– Егор Иваныч... – просительно сказал голос Семена. – Скажи там, по начальству правления... накрышечку какую ни есть бы... мокрое время, невсутерпъ... до кишек мокнешь...

– Да когда же он, черт!... Господи... – Огонь кажить! Валит!

– Лодку, Семен!

Спотыкаясь и катясь по глине, Серегин вбежал в землянку, прыгнул через скулившего на ступеньке кутенка, накрылся плащом, схватил чемоданчик и выбежал в темень. Застучало дождем по клеенке, загремело в ветре, как жестью, – жестким плащом.

– Лодка где? Фонарь зажигай, живей фонарь зажигай!...

– Здесь... да спицы смокли...

– Давай, черт тебя... мимо проскочит... Заюлило золотыми змейками на глине, в ключах, закачался тусклый фонарик на палке. Загромыхали весла.

– Ну, дай Господи... Прямо, шурга пошла... Держись, Егор Иваныч!

Крепко накатывало волной, мешало выбраться. Серегин стоял, упершись ногами в борта. Следил, как извиваются высокие огни по стрежню.

– Паруси-ит, Егор Иваныч! – кричал Семен, наваливаясь изо всех сил на весла. – Садись ты, шумной!...

Срывало ветром. Серегин махал огнем. Не давали гудка высокие наплывающие огни, не трепетало сигналом.

– Лихо дело, не черпануть бы... Садись!

– Гребись знай!

Ближе, ближе подбирались огни. Шлепнуло волной сбоку, подняло и бросило в хлябь.

– Садись! – заревел Семен. – Шутова голова!

– Знай гребись!

– По-спеем! Кружить ему два раза! Машуть вон... Плавно, дугой, покачался огонь-сигнал, и, наполняя ночь новым, уже сознательным шумом, загудел пароход, показывая освещенный бок.

– Добе-ремся... – уже весело, кряхтя от усилий, крикнул Семён, точно и он дожидался парохода. – Как теплом от ево...

– «Чай-ковский»... – разобрал Серегин золотые буквы по белому. – Хороший пароход...

– А-ди... корму-у! – заревел рупор.

Огнями горел длинный бок. Смотрели на Серегина освещенные окна салона. Мотали огоньком на корме. Рвануло волной, метнулась веревка, два длинных багра ссунулись с борта и разом схватили лодку.

– Прощай, Семен!

– ...Ива-ныч! – сорвало ветром. Уже не было лодки за бортом.

III

– Не мая-чи-ит! – услышал в дремоте Серегин и встряхнулся.

На него смотрел с большого стола разноцветный хрусталь в огоньках, белоснежная скатерть, мерно качающиеся розовые шапки цветов. Дальше – черное, во всю стену, окно. За окном кричал голос.

...Задремал! – подумал Серегин и покосился на ужинавших.

Они сидели за столиком, друг против друга, и звякали ножичками. Круглые часы на стене показывали без четверти двенадцать, а когда вошел, было без двадцати пяти. А вздремнул и что-то такое видел – забыл.

Старичок принес ему водки и ветчины.

– Насилу отхлопотал – плиту загасили.

Еще на берегу Серегин решил, точно назло кому-то, выпить, да вкрепкую. А как увидал с лодки, что во втором классе темно, вспомнил с досадой, что кухня кончает в половине двенадцатого. И обрадовался: салон первого класса был освещен. И, хоть не любил он первого класса – аристократы там все, – вошел.

Ел ветчину, выпивал рюмку за рюмкой, поглядывая на ужинавших. Господин был кислый с лица, с рыхлыми синими щеками, брыластый, рухляк; и голос был неприятный, и движения барственные. Зато дама была красавица. У ней было нежное, белое, как из воску, лицо, тонкие, яркие губки, темные бровки мягкими дужками и чудесные светлые локоны, какие видал он в Архангельске, в лучшей парикмахерской, за окном. А когда увидал глаза – сладко тронуло сердце. Так и подумал – божественные глаза. На ней было чуть розоватое, с блеском, платье, и на плечах пышный мех, запавший на спинку стула. И все в ней было прекрасно: как поворачивала пышную головку, в золотистой повязке, как держала стаканчик, как пила маленькими плоточками и как говорила.

Он съел ветчину и допил всю водку. Закурил и почувствовал наплывающую истому.

...Соснуть бы часок... или пивка попросить?...

Поманил старичка и попросил подать пива.

– Уж как-нибудь расстараюсь.

От столика до Серегина долетали отрывки непонятого разговора:

– ...за одну неделю. Пять тысяч дал!

– ...конечно, отказался... Лучше заплатить неустойку.

– ...в Симбирской губернии, на самом берегу Волги... Сто тысяч заплатил! И играл, конечно... всякие операции...

Слышал Серегин сквозь наплывающую дремоту. Думал – коммерсанты какие-нибудь, маклачить едут на ярмарку... Ярмарка там лесная... Поглядел вялыми глазами на даму, откинувшуюся к спинке, – ножки какие маленькие, – опять подумал: «Красавица... может, содержанка этого рухляка... сам едет маклачить на ярмарку, а ее боится одну оставить, вот и потащил в такую погоду... Цепищу какую выпустил – чисто скоба».

Мерно позвякивал хрусталь на столе. Белая скатерть расплывалась, тускнела, что-то мерцало – розовое. Поглядел к столику. Матово светилось серебряное ведерко с выплядывающим горлышком.

...Шампанское дуют.

Там ели ложечками что-то розовое с тарелочек и запивали вином. Часы пробили – двенадцать.

«Сходить скоро», – подумал Серегин, привалился и стал дремать. Слышал, как шумит порывами за окном, как сонно шуршит дождем по стеклу. Видел как будто огни в черноте, качающиеся волны, услышал плеск...

– Пожалуйста-с, Егор Иваныч...

Показалось в вязкой дремоте, что это сходить надо сейчас, и встряхнулся. Старичок лакей лил в фужер пиво.

– Вздремнули, Егор Иваныч...

– Да, брат. Крутился много все эти дни.....Саша! – отозвалось тоской сердце.

Тревожно закричал пароход, и машина остановилась. Стало слышно, как порол по палубе дождь.

– Мы опять стали! – сказала певица, кутаясь в мех, и подошла к окну. – Ни одного огонька нет...

Тревожно кричал пароход, точно предостерегал кого-то: ни-ни! ни-ни! Застучали ноги над головой. Ревел рупор. И вдруг увидали – за

передним стеклом черкнула с носа ракета. Треснуло и облило голубым светом берег в черной щетине леса.

– Зачем ракета? – тревожно спросила певица, оглядывая салон, и Серегину показалось, что на нем остановились ее глаза.

– Опасного ничего, сударыня, – подымаясь, сказал он почтительно. – Самый тут стрежень и завороты... Предупреждают...

– Что?... я никак не пойму...

Она взглянула через плечо, и он еще лучше мог видеть, как хороша она и какие у ней чудесные, играющие глаза.

– Сильный пронос тут, очень бырит, сударыня... – сколько мог мягче сказал Серегин. – Несет пароход, а стрежень кривой и узкий... фарватер-с...

Она отвернулась к окну: нет, конечно, не инженер.

– И что же?...

Ему нравилось это – он бы сказал – королевское обращение, небрежно-отрывистые вопросы и нежный голос.

– И вот, если там встречный, – столкнуться могут. А гудков не слышать за ветром. Потому и ракета.

– Да-а...

Она отошла от окна, мило запахиваясь боа, точно ей было холодно. А Серегин насторожился, не спросит ли.

Она видела этот ожидающий взгляд. Эти взгляды тянулись за ней повсюду. И этот, в сапогах, красивый и диковатый, с резко кинутыми бровями, этот детина, крепкий, как брус, смотрел на нее точно таким же взглядом, в котором были еще и робость и восхищение.

– Вы, очевидно, хорошо знаете эти места? – спросила она небрежно.

Он ответил с готовностью, что знает отлично. Он вырос на этой реке. Можно сказать, волны его качали: отец-то его был лоцман, когда, конечно, еще не было охраняющих знаков, провожал суда в трудных местах. А он? А он... вот эти баканы, огни, мачты по берегам – это его рук дело. Как сказать! Труда особого нет, только беспокойное очень дело. Вот часа через полтора надо сходить... Говорят, утонул маячник, – те, что по берегам в шалашах. Надо быть при дознании.

Намолчался ли он, долго ли не бывал с людьми, или водка развязала язык, или было так хорошо говорить с этой красавицей – так называл ее про себя, – он рассказал, как ночевал в шалаше у маячника

и как ставил баканы на плесе, где его забрал пароход. Плохо, что подошла непогода, кругом развезло, темень. Выплянул на реку – огонек, идет пароход.

– Увидали наш пароход! – оживленно сказала она, кутаясь в мех и щурясь. – Скажите... говорят, здесь еще попадается тип прежних ушкуйников-новгородцев... – спросила она с улыбкой.

Он слышал про ушкуйников.

– У нас тут много крепких людей... отважных. Лоцманов вот – водяной народ, дерзкий...

Взвыло ветром по палубе, прокатило по железной обшивке, и Серегин опять вспомнил, что скоро сходит. Посмотрел на часы – первого половина.

– А зимой что вы делаете?

– Да ведь... то ремонт, то пошлют в управление. А то отпуск беру, на родину еду. Глухие у нас места. Тут у меня с медведями...

– Что такое... с медведями? – спросил баритон, подымая брови. – Охо-та?

Как-то раз он был на обкладке, нарочно для него устроенной почитателем-фабрикантом.

– Вот-с. Только я дешево-с, работаю исполу...

– Исполу? – морщась, спросил баритон. – Я не понимаю... исполу!

– Обкладчику трешну в зубы, медведя на придачу. Дорого положить! Промажу – плати десятку. Но только этого не бывало. У меня не сорвет-с! – показал он рукой. – Прошлую зиму полдюжины нащелкал – мечек пару да пестов четырех, стариков...

Веяло от него силой. Широкогрудый был он, росту вершков двенадцати, с руками, в которых прятался фужер пива, с горячим взглядом и открытым, темным с загару, лицом. Ерзал по широкому лбу его каштановый завиток, враскос глядели беспокойные брови, а мягкие губы все сбегались в усмешку, когда говорил. Он уже не стеснялся теперь, расхаживал по салону, заставляя дрожать хрустали.

– Ммда... – пожевал баритон губами. – Я тоже люблю эту... охоту...

– Убивали-с?! – радостно даже спросил Серегин.

– Однажды, в Калужской губернии... взял я одного... небольшого...

...Врет, брыластый... – подумал Серегин, глядя на рыхлые щеки и намекающие под глазами мешочки. – И у такого-то рухляка – такая!

И спохватился: так неудобно держать себя, ходить и кричать так громко.

– Да вы молодец! – сказала певица. – Расскажите нам еще что-нибудь. Так мы скучали все время...

Он был счастлив, что она говорит с ним и так смотрит. Какая женщина! Скажи ему – и по одному ее слову, за эту невиданную улыбку, за этот нежный, певучий голос, от которого с чего-то понывало сердце, он готов был бы перебить всех медведей, пойти на них с голыми руками. А легкая какая, сублиньенкая! Он рассказал им, как был раз под медведем, как взял рысь одними руками – ободрала, шельма, плечо! – как под Архангельском, – там река, господа, ка-кая! версты! – переходил в ледоход. Об этом писали в газетах. Ну, это когда был моложе, конечно. Теперь дорожит жизнью. Зажигал перед ней, перед этой чудесной розовой женщиной, весь жар, который таился в душе. Был счастлив, что она так глядит, – и вдруг стало не по себе: заметил, как она наклонилась к скучному рухляку и что-то шепнула.

– А не выпьете ли с нами винца? – предложил баритон.

...Во-от! А прилично ли? – подумал Серегин. – Скажут, сам напросился...

– Да? – с улыбкой кивнула ему певица. – Конечно, вы должны выпить.

...А какие глаза! Бывают же такие... небесные женщины! Родятся где-то, где-то живут...

Он не нашел, что ответить. Поежил плечами и поклонился.

– Берите стул и садитесь. Вы так хорошо рассказываете...

...Сама красота! За такую биться до смерти можно... Рубаха видна из-за ворота... – И смущенно вбирал голову в плечи, чтобы не показалась рубаха.

– Вам какого позволите? Вам надо выпить, вы скоро опять туда...

– Все равно-с... какого-нибудь...

Все равно, она понимает его смущенье, понимает, что не умеет он разговаривать. Им все известно. Бывают же такие необыкновенные, недаром они живут в больших городах и все знают. Вот и не делают ничего, и это хорошо, что они ничего не делают. Руки какие! Белые,

ни морщинки, ни цапинки, атласистые. Сливками моют! Слышал он что-то про сливки. А платье! Шкурка прямо. Совсем и не платье, а кожаца.

...Водка-то дает себя знать, – следил за собой Серегин. – А, все равно, сходить скоро, к черту...

Он присел, чувствуя связанность – ходить было куда свободней, – потирая руки, с которыми не знал что делать. В карманы заложить, положить на колени или так, на груди, как этот?...

– Во-симв! – донесло с носа.

– Мы не сядем? – шутливо спрашивала певица. – Вы тут все знаете.

– Знаки все исправно стоят, не должны-с.

– Этим мы обязаны вам, нашему охранителю... Позвольте этого? – дарила она ему улыбки.

Еще спрашивает – позвольте! Вот они, вот необыкновенные, настоящие люди. А говорят – аристократы, в людях не понимают. Шампанское! Не ждал – не гадал. Конечно уж, настоящее. Он никогда еще не пил настоящего. Поил его купец на пароходе донским, а это...

– Помилуйте, какой охранитель!

Это все сущие пустяки, даже не стоит хорошего разговора. Это его обязанность – ставить баканы, проверять и направлять стрежень, следить за рекой, чтобы не баловалась. Ну, и ночевать под дождем. Он чуть-чуть рисовался перед нею. Есть такая пословица здешняя, – простите за грубое слово, – не потопаешь – не полопаешь. За это и деньги платят. Немного, шестьдесят рублей, но тут, как говорится, эконо-мический закон. Не он – так другой. А жизнь – строгая старушка, не пошутишь. Сколько хуже его живет. А плотогоны как! Сколько их пропадает, как плоты разобьет – так и посыпятся. А маячники, а леса валят – головы напрочь летят, в лепешку! А на лесопилках, а на рудниках медных! В бархате-то живут – горсть. Жизнь...

Посмотрел на нее: вот она, в бархате живет, такая.

Уж и не замечал, как подливали ему. Он точно сорвался, поощряемый гымканьем рухляка и ее играющими глазами.

– Любите наши места... Очень приятно! Наши места хорошие. Народ кормят. Дикой край, не разработан еще. Разра-бо-таем!

Какие же они пустые! С пароходу-то не видать, конечно. Пустые!

– Так-то вот, господа, и про народ говорят – ленивый! А пожить... Деревни кругом, в полях и лесах деревни. Деготь гонят, скипидар, смолу, корье дерут, леса валят, режут, за границу гонят. Маслобойки! А рыбаки! Изволили семгу кушать, а нельму? А вот они, заколы-то, курмы... В ночи-то непогожие самое дорогое дело, когда ей пора валиться. А поморы! За тюленями, за треской, кругом кипит...

Говорил о возникающих поселениях, о падающих лесах, о прежних лоцманах, доживающих дни свои по родным селам. Их бы послушали! О разливах этих могучих рек, когда на десятки верст ничего – море и море. О ходе семги, как бежит она с моря, сигает через пороги, через заколы, вся-то серебряная!

Всегда перед ним стоял полный стакан. И всегда видел – вот-вот, близко совсем, – играющие, несбыточные глаза и в них такое, такое... как сказка.

...Что за вино! Пьешь – больше хочется. Еще бутылку несет Иван. Теперь красное начали... вот шикают!

Рассказывал о бучах в водополье, о крестах, о погостах. Сыпал пословицами. Вытащил «бабочку», положил на стол, и лежала она рядышком с золотым портсигаром в буквах. Смотрел сбоку, как попивает она плоточками, точно цыпленок, эта чудесная женщина, сама красота. Совсем близко взглянул – светлые круглые глаза... Сашины глаза! А из души не шла камнем навалившаяся тоска. И вино не брало ее. Говорил о Щурах, какие хитрые бывают места на реках. Там и песня такая есть: «От поры да до поры разыгрались Щуры!»

Опять кричал пароход, спрашивал ночь, тише шлепал колесами. Пригляделся Серегин – часто стоят баканы, знакомое место.

– Рожня, никак... – сказал старичок, дремавший у стенки.

– Самая она...

Серегин подошел к окну, протер рукавом запотелость, смотрел на невидные берега. Рожня! Ни огонька не было на горе, и горы не было, и села с синими пузатыми куполами в звездах, и трактира на самом венце горы. Прижался лицом к стеклу – ничего.

– ...Сашура! – позвал он. – Чуешь ли?! Стиснул зубы, сдавил глаза, задавил в себе нежданно запросившиеся слезы.

– ...Приду, Саша! – сказал он невидным берегам.

– Не тут родина ваша? – услышал он играющий голос.

– Нет, сударыня. Родина моя далече отсюда... Подумал было – сказать? Посмотрел в себя, посмотрел на столик с ведерком – нет.

– Скоро уходить вам?

– Да... полчаса, не больше...

Он сидел наклонившись и отвернувшись, не думая уже – прилично ли так, – смотрел на сапог, а губы дрожали, и хотелось бы закричать, побежать куда-то, разметаться.

– Ну, скажите... – нарушила молчание певица. – Вы довольны своей судьбой?

Она так тепло посмотрела, так участливо спрашивала.

– Судьбой... – сказал он, не подымая головы, забывая, прилично ли. – Судьба моя... невеселая, сударыня...

Встряхнулся, взглянул на нее и улыбнулся грустно.

– Все бывает.

Прошелся по салону, понюхал розовые цветы, которые ничем не пахли, взглянул на часы – второй. Певица постукивала ложечкой.

– А вы далече изволите? Туда-с... Там теперь ярмарка начинается. По торговым делам изволите ехать?

– О, нет! – рассмеялась певица. – Почему вы думаете, что мы по торговым делам?

Помотрела на баритона. Тот смеялся глазами – по торговым делам!

– Так, ошибся, конечно... Слышал – коммерческий разговор, думаю – по торговым делам...

Смотрел на нее с простоватой улыбкой.

– Нет, мы не по торговым делам... – сказала певица задумчиво. – Не по тор-говым...

Она подошла к пианино, открыла крышку, посмотрела на черное окно. Задумалась. Постояла и тихо опустила крышку.

– Ветер какой!

Кажется, никогда не утихнет ветер, не перестанет дождь, не кончится непогожая ночь, стоящая за пароходом. Ни эти рвущие ночь гудки.

– Не мая-чи-ит! – кричал все тот же неустояющий голос.

– Не маячи-ит! – подавал выше, под темным небом.

– Вы женаты?

– Нет-с. У меня ни жены, ни сестры... ни мамы... Она посмотрела на него по-другому, чем раньше. Такой огромный, медвежий человек, а сказал так по-ребячьи, так нежно – «ни мамы».

...Что она смотрит так? Ведь она ничего не знает.

И понял – жалеет.

А если ей все рассказать... Она пожалеет... А тот уж дремлет, упился...

Серегин смотрел в переднее, черное окно, по которому струились капли. Поднялся, вглядываясь. Ну да, самый и есть, Волчий перекат. Надвигается линия баканов, частых огней.

Подал отрывистые гудки пароход: гу-гу! гу-гу!

– Вот и сходить мне...

Певица посмотрела в окно: опять широко раскинулись зыблющиеся огоньки, опять не видать берегов, и все так же царапаются волны, белеют гребнями.

– Пойдете туда... Господи! – передернула она зябкими плечами. – В такую тьму...

– К утру рассветет... – усмехнулся Серегин. – Может, осень погожая будет...

...Эх, ей бы сказал, пожалела бы с такими глазами, маленькая...

– Счастливо оставаться!

Она протянула ему маленькую холодную руку, которую он боялся пожать, – такая она была крохотная.

– Вы будете счастливы... – сказала она с чувством, в порыве вдруг поднявшейся жалости к нему, уходящему в ночь. – Желаю вам... и хочу, чтобы вы были счастливы!

Он поклонился неуклюже, тронутый такой неожиданностью, веря сердечности нежного голоса. Поклонился молча кутившему рухляку.

– Мое по-чтенье!

Оглянул салон, точно искал свой чемоданчик и плащ, оставленные у вахтенного. Увидал дремлющего у стенки официанта, долго рылся в карманах, вытаскивая какие-то бумажки, отыскивая кошелек.

– Семьдесят копеечек с вас, Егор Иванович. Нету – потом отдадите.

– Как нет, как нет...

Сунул рубль, боком, наспех, поклонился к столу и вышел на палубу. На него пахнуло ветреной мокрой ночью.

– Бедный... – вздохнула певица.

– Ммда... – отозвался баритон. – Мне показалось, вы ему петь хотели...

– Тут нет ничего смешного. Да, я хотела бы спеть ему... Хотела бы спеть всем... всем этим пустым просторам...

– Вы напрасно, дорогая. Я не смеюсь... Я бы и сам ему спел.

Певица переплела пальцы, положила на них подбородок и задумалась.

– Да, я хотела спеть, и почему-то было стыдно... Я пела на пароходах, но теперь... мне показалось это таким... Что бы я стала петь? Он, вероятно, никогда ничего не слышал... Но что бы я стала петь ему? «И тихо, и ясно, и пахнет сиренью»? Что-нибудь бодрое? А он послушает и пойдет в ночь?... Мы можем петь с вами там, в залах, рядам... а здесь надо что-то другое петь, в этой жути, какую-то страшную симфонию... Она творится здесь, я ее чувствую, эту великую симфонию... Мои песенки были бы здесь насмешкой, каким-то писком. Да, да!... Сюда надо идти не с подаяньем!... А когда-нибудь и здесь будут петь... другие...

Она позванивала ножичком по лафитничку.

– Прикажете убирать-с? – спросил официант.

– Ну, хорошо-с, – сказал баритон. – Представим себе, что все эти наши «песенки»...

На палубе пороло дождем. Со свету ничего не было видно. Говорили вахтенные, что был огонь с берегу, а вот нету. Звал и звал пароход.

– Дают? – кричал Серегин капитанскому мостику.

– А черт их знает! – сердито отвечал мостик. – Баканы горят – есть кто-нибудь...

Где берега? Непроглядная темень с покачивающимися какими-то голыми огоньками.

– Дает! – крикнули от кормы голоса.

– В корму входите-и! – заревел рупор.

Завозились кожаные куртки в свете фонарика, поднялись черные жерди и упали: багры зацепили невидно подобравшуюся лодку.

– Готова-а!

Серегин прыгнул. За ним кинули чемоданчик. Подняло и швырнуло в хлябь. Отходили светлые окна салона, узились,

завернулись. Дальше, дальше уходили боковые огни, светя на прыгающие волны, пуская два долгих расходящихся вала, унося тыльный рубиновый огонь. Уже не было их, а этот кормовой огонек становился недвижимым и уже не живым был, а покачивался на вольных волнах рядовым унылым баканом. Дольше всего держался белый на невидимой мачте, и не разобрать было – пароход ли шел где вдали, звездочка ли гляделась в прорыве неба.

Переменился ветер – упорно, густо тянул с берегов, нес шумы чащ.

– Садись! – уже который раз кричал с весел робеющий молодой голос.

Не видел и не думал Серегин – кто там, невидный, на веслах. И как часто бывает, когда попадаешь во тьму с яркого света, – остается в глазу резкое отражение только что виденного, – так и было с Серегиним. Перед глазами, во тьме, на ветру, резко стоял угол стола, белая скатерть, край серебряного ведерка, нежная рука в кольцах, золотой портсигар в буковках, полстаканчика красного вина, розовое что-то в окурках на блюдечке...

...А портсигар?!

«Бабочки» не было ни в боковом, ни в других карманах. Она осталась лежать на столике, рядом с тем портсигаром. Теперь едет там...

...Оставил. Ну, Иван уберет...

Вскинуло на крутую волну, швырнуло – чуть не упал Серегин.

– Садись, говорят! Не выгребешься никак... – кричал плаксиво молодой голос.

– Кто на веслах?

– Маяшник!

– Маяшник утоп!

– Што ж, что утоп... А сам кто?...

– Судоходный смотритель! – А-а... виноват...

– Тело нашли?

– Не!

– А ты откуда? староста нарядил?

– Староста! Подрушный я, с пятого поста! Аксен...

– Справляешься?

– Ничего... Скушно тут...

- Что?
 - Воет!
 - Что воет?!
 - Женка ево, в салаше... не уходит...
- Лодка толкнулась в берег.

1913 г.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)